

О «МИХАЙЛОВСКОМ» ПРИЛОЖЕНИИ К «КРЫМСКОЙ» ПОЭМЕ ПУШКИНА

Предметом рассмотрения становится очерк Пушкина «Отрывок из письма к Д.», ставший приложением к «крымской» поэме «Бахчисарайский фонтан». Исследуется форма, цель и направленность этого произведения.

Ключевые слова: Крым, Бахчисарай, фонтан, литературная реальность, воображение.

V. A. Koshelev

ABOUT THE «MIKHAILOVSKOYE» APPLICATION TO THE «CRIMEAN» POEM OF PUSHKIN

The subject under discussion is Pushkin's essay «An extract from the letter to D.» that became an application to the «Crimean» poem «The Fountain of Bakhchisarai». The article focuses on the form, purpose and direction of this work.

Key words: Crimea, Bakhchisarai, fountain, literary reality, imagination.

5 сентября 1820 года Пушкин вместе с Н. Н. Раевским-старшим и Н. Н. Раевским-младшим верхом отправились из Гурзуфа в Симферополь: завершался «крымский» отпуск и следовало возвращаться к месту службы.

Путь был экзотический: по Южному берегу Крыма. Через Ай-Данильский лес до Никитского сада и далее до Ялты (тогда — маленькая деревушка на берегу моря); потом через Аутку, Ореанду, Кореиз, Мисхор до Алупки, где ночевали в татарском дворе. Из Алупки двинулись до Симеиза, обошли гору Кошка со стороны моря и поднялись по Чертовой лестнице в Байдарскую долину. Второй раз ночевали в Георгиевском монастыре, где, по преданию, находились развалины храма Артемиды, воспетые Пушкиным в третьем послании Чаадаеву.

Затем, оставив слева Севастополь (Ахтияр), направились Балаклавской дорогой в Бахчисарай, где опять ночевали, а наутро осмотрели ханский дворец и в нем фонтан «Сельсибийль» («Райский источник»). Из Бахчисарая поехали в Симферополь, куда прибыли 8 сентября...

Почти год спустя, в конце августа 1821 г., Пушкин в Кишиневе начал работу над новой поэмой о наложницах ханского гарема [3, с. 230–231], — но лишь к марту 1822 г. отыскал ее художественный символ — образ «плачущего» фонтана [15, с. 236]. К февралю 1823 г. поэма была вчерне написана. В апреле об ее существовании стало известно петербургским друзьям: П. А. Вяземский сообщил А. И. Тургеневу, что «Пушкин пишет новую поэму *Гарем* о Потоцкой, похищенной которым-то ханом, *событие историческое*» [1, с. 16].

В нашу задачу не входит ни уяснение степени историчности легенды, ни определение того, от кого именно услышал ее поэт, ни очередная версия «утаенной любви», с этой легендой связанной [4]. Для нашей темы важны три обстоятельства:

1. Первоначальные впечатления Пушкина от пребывания в Бахчисарае и в ханском дворце, затерянные в потоке экзотических впечатлений пребывания поэта в Крыму, *не были особенно яркими*. Показательно, что в письме к брату от 24 сентября 1820 г., где подробно описываются крымские впечатления, Пушкин *даже не упомянул* о Бахчисарае. Эпизоды пребывания в столице Крыма были «восстановлены» по этому через год, уже в ходе работы над поэмой.

2. Легенда о Потоцкой была довольно известна: Вяземский, узнав о пушкинской поэме и не зная ее названия (и, соответственно, не подозревая ни о каком «фонтане»), сразу же соотнес ее с «историческим» преданием.

3. Эта легенда о Потоцкой никак первоначально не соотносилась с необычным фонтаном в Бахчисарае. Сам Пушкин в тексте поэмы связал название «мрачного памятника» с некими «младыми девами», своими ровесницами:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали [11, т. IV, с. 169].

4 ноября 1823 г. Пушкин отослал новую поэму Вяземскому — тот вызвался быть ее издателем. При этом он попросил: «...припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие». И далее: «Посмотри также в *Путешествии* Апостола-Муравьева статью *Бахчи-сарай*, выпиши из нее что посноснее — да заворижи все это своею прозою, богатой наследницею твоей прелестной поэзии...» [11, т. XIII, с. 73]. Цель «дополнений» к «бессвязным отрывкам» (как Пушкин уничижительно именовал новую поэму — [11, т. XIII, с. 73] была очевидной: «Бахчисарайский фонтан», небольшой по объему, никак «не тянул» на отдельную книжку: в первом издании сам текст поэмы занимает всего 35 страничек, а текст «приложений» (предисловия Вяземского и отрывка из книги Муравьева-Апостола) — 36. В замысле эти «приложения» должны были иметь характер реального комментария, включив описание ханского дворца, пересказ исходной «легенды» и т. п.

При этом Пушкин сам еще *не читал* книги И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году» (вышедшей в Петербурге в конце мая 1823 г.), а только слышал о ней. Не читал ее и Вяземский: получив пушкинский «заказ» на предисловие, он срочно просит петербуржца Тургенева ее прислать — и ищет еще какой-то документальный источник с пересказом исходной легенды: «Да, расспроси, не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом и наведи меня на след» [10, с. 367]. Тургенев, как видно из его ответного письма, искал, но ничего путного не нашел. При этом Тургенев не подозревает о том символе, который лег в основу пушкинского повествования, — и в письмах к Вяземскому упорно называет новую поэму «Бахчисарайский *ключ*», предполагая, видимо, что раз в названии *фонтан*, то он непременно должен «бить ключом» [10, с. 368]. «Что за *ключ*? — недовольно спрашивает Вяземский — Во дворце — фонтан, а ключа быть не может, разве в замке» [10, с. 371].

«Путешествие по Тавриде...», полученное Вяземским, содержало не пересказ легенды о Потоцкой, а, напротив, решительное *сомнение* в истинности этой легенды. Описав мавзолей жены хана Керим-Гирея, Муравьев-Апостол замечал: «Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем.

Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания <...> все доводы мои остались бесполезны: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких» [11, т. IV, с. 175]. Тут же возникала странность: автор нигде не упоминал ни о каком *фонтане*, а описывал *совсем другой* памятник: «здание с круглым куполом», «мавзолеей прекрасной грузинки».

В ноябре — декабре 1823 г. между Вяземским и Пушкиным завязалась переписка, касающаяся приложений к изданию поэмы. Из нее сохранилось лишь письмо Пушкина от 20 декабря: «Ты, кажется, собираешься сделать заочное описание Бахчисарая? Брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое» [11, т. XIII, с. 83]. В том же письме примечательное указание: «Рисунок с фонтана оставим до другого издания» [11, т. XIII, с. 82]. Кстати, «рисунок с фонтана» не появился и во втором, иллюстрированном издании нашумевшей поэмы. Художник С. Галактионов на четырех гравюрах умудрился так и не изобразить *фонтана*...

10 марта 1824 г. «Бахчисарайский фонтан» вышел в свет. Пушкин получил книгу в начале апреля — и в письме к Вяземскому благожелательно, хотя и не без полемики, отозвался о предисловии, охарактеризовав его как «чудо ловкости и дело партийное» [11, т. XIII, с. 91]. Поэма скоро приобрела широкую популярность. О приложении к ней критика не упоминала.

В ноябре 1824 г., уже находясь в Михайловском, Пушкин, наконец, сообразил, что сам не читал еще «Путешествия...» Муравьева-Апостола, и попросил брата его прислать [11, т. XIII, с. 119]. Получив и прочтя его в декабре, он набрасывает в рабочей тетради ПД № 835 («второй масонской»), после черновиков 4-й главы «Онегина», «Отрывок из письма», который станет *вторым* послетекстовым приложением к «Бахчисарайскому фонтану» [11, т. IV, с. 175–176].

С какой целью был написан этот «Отрывок из письма»? В пушкинских текстах он занимает «промежуточное» положение — и в академическом собрании сочинений печатается *трижды* — в разных редакциях. Оно входит в корпус *писем* Пушкина, — ибо это было и в самом деле письмо, отправленное Дельвигу [11, т. XIII, с. 250–252]. Вместе с тем, это письмо является *литературным произведением*, написанным с заведомой целью отправить его в печать. Оно было напечатано Дельвигом в «Северных цветах на 1826 г.» — и вошло в состав пушкинской *прозы* [11, т. VIII, с. 435–440]. А став приложением к «Бахчисарайскому фонтану», оно естественно вошло *в состав художественного текста поэмы*...

Я. Л. Левкович предположила, что Пушкин написал «Отрывок из письма к Д.», потому, что был «недоволен предисловием Вяземского» [8, с. 253]. Но это не вполне соответствует фактам. Пушкин познакомился с предисловием Вяземского еще в апреле — почему же он ждал до декабря? Он был, в целом, доволен статьей Вяземского, хотя и полемизировал с его эстетическими установками — но в «Отрывке из письма» нет и упоминаний об этих установках! «Отрывок...» был благополучно напечатан в «Северных цветах на 1826 год», но во второе издание «Бахчисарайского фонтана», предпринятое через полтора года (ценз. разр. 20 октября 1827) он *не вошел*; более того, это издание, как и первое, открывалось «Разговором...» Вяземского. Пушкин включил его в третье издание — в 1830 г.

И. Л. Фейнберг предложил считать «Отрывок...» «автобиографическим письмом» и одновременно «готовой сохранившейся частью» автобиографических запи-

сок Пушкина 1821–1826 гг., уничтоженных накануне отъезда в Москву с фельдъегерем [14, с. 234–236]. Б. В. Томашевский оспорил это утверждение, сославшись на историю текста «Отрывка...» [13, с. 482–484]. Действительно, в черновике сравнительно немного исправлений и зачеркиваний. Указания на личности спутников поэта «зашифрованы» звездочками. Очень показательна замена мужского рода на женский. Ср. в черновике: К*** поэтически *описал* мне...» [11, т. VIII, с. 1000] — и в напечатанном тексте: «К*** поэтически *описывала* мне...» [11, т. VIII, с. 438]. Пушкин легко меняет биографические данности (кто такой К*** — мужчина или женщина? — неважно!) именно вследствие изначальной «литературности» текста.

Но вернемся к главному: что побудило Пушкина в михайловской ссылке написать этот странный комментарий к своей поэме в самый разгар ее читательского успеха? Эту побудительную причину Пушкин назвал в самом начале произведения, однако это начало не попало ни в публикацию «Северных Цветов», ни в текст авторского приложения к поэме. Вот оно:

«Путешествие по Тавриде прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М. <Муравьев-Апостол>. Очень жалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений. Посуди сам» [11, т. XIII, с. 250]. И лишь после этого «вступления» начиналось то описание «путешествия», которым открывается «Отрывок...» в его печатных вариантах: «Из Азии мы переехали в Европу...».

Именно «Путешествие по Тавриде» чем-то взволновало Пушкина: сначала он познакомился с фрагментом из него (*впервые* прочитав этот фрагмент *в уже вышедшей из печати* собственной книжке), а через полгода заказал ее целиком — вероятно, чтобы что-то перепроверить... Эта книга, построенная как свод исторических разысканий, как описание крымских «древностей», стала исходной посылкой для пушкинских личных воспоминаний. При этом Пушкина взволновала какая-то конкретная *деталь*, которую необходимо было, оговорить...

Обратимся к тексту пушкинского «Отрывка...»

Жанровая принадлежность его обозначена уже заглавием: «Отрывок из письма». Это был популярный жанр «журнальной словесности» 1810–20-х годов, ставший своеобразным «зерном», из которого вырастали и русская критика, и публицистика, и новеллистика. «Отрывок» противостоял формам «большого повествования: не предполагавший воссоздания «целого», он представлял «эпизод», в котором предмет, по излюбленной мысли Ф. Шлегеля, выражается ярче и полнее, чем в «целом».

Показательно, что перебелив «Отрывок...», Пушкин зачеркнул в нем первый и последний абзацы: в первом (приведенном выше) содержалось указание на «Путешествие по Тавриде»; в последнем прямо указывалось на стихию «воспоминания». Дельвиг в «Северных цветах», выпустив первый абзац, оставил последний; сам Пушкин, помещая «Отрывок...» в приложения к третьему изданию «Бахчисарайского фонтана», этот абзац убрал: он явно стремился сохранить *иллюзию теперешнего восприятия*.

Желая передать впечатления от ханского дворца в Бахчисарае, подробно описывает весь свой предыдущий крымский маршрут, но создает иллюзию «уединенного» путешествия; лишь в самом конце появляется некий спутник, обозначенный инког-

нитонимом «NN». Нарочитая документальность прерывается намеренной литературностью: «NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище,

но не тем

В то время сердце полно было:
лихорадка меня мучила» [11, т. IV, с. 176].

Стихотворный «перебив» (перед упоминанием «лихорадки») отправляет читателя к тексту «Бахчисарайского фонтана», где стихотворная фраза тоже посвящена описанию ощущений автора при посещении дворца, — но относилась она вовсе не к «лихорадке», а к гораздо более возвышенным предметам:

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... *но не тем*
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной [11, т. IV, с. 170]

Обращаясь к «Отрывку...», читатель ждал отыскать прежде всего описание Бахчисарая и ханского дворца, которое бы согласовалось с вдохновенным поэтическим описанием. И, естественно, описание «мраморного фонтана»:

Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда [11, т. IV, с. 169].

«Фонтан слез», фонтан любви» (так именовал его Пушкин в известном лирическом стихотворении) стал *устойчивым символом* и Бахчисарая, и пушкинского пребывания в Крыму, и пушкинской романтической поэзии. Читатель ожидает прозаического представления знаменитого фонтана, столь замечательно выписанного в поэме. Но Пушкин неожиданно краток и сдержан — и *самое главное* излагает в нескольких строках:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям капала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат» [11, т. IV, с. 176].

Вода уже не «журчит во мраморе», а просто каплет «из заржавой трубки», не вызывая никаких ассоциаций со «слезами». Но и этого Пушкину мало. Еще более затейливо «Отрывок...» соотносится с непосредственно предшествующей ему «Выпиской из Путешествия по Тавриде И. М. Муравьева-Апостола». «Выписка...» эта содержит подробное описание дворца, памятников, гарема. Вид этих памятников во все не производит ощущения «небрежения» и заключается подробным описанием

«красивого здания с красным куполом» — оно на самом деле (а никакой не «фонтан»!) является «памятником ханской любовнице». Именно в связи с этим зданием Муравьев-Апостол вспоминает искомую легенду и предлагает поэтический пересказ ее, заодно отдавая предпочтение не «полячке», а «грузинке» как героине легенды. В пушкинской поэме, как известно, присутствуют обе: и полячка, и грузинка...

Никакого «фонтана» при этом Муравьев-Апостол не упоминает; есть лишь некий «мраморный фонтан» — но он упоминается исключительно потому, что возле него «есть прекрасный цветничок» [11, т. IV, с. 174]. То есть приложение к книге прямо указывало на историческую неточность пушкинской фантазии!

Прочитав эту «Выписку...» в первый раз в составе уже вышедшей из печати его собственной поэмы, Пушкин должен был ощутить всю нелепость создавшейся ситуации: при прямом сопоставлении его, поэтического, описания с описанием документальным оказывалось, что для «исторической» поэмы избран *ложный символ*: не тот памятник ханской любовнице! Именно поэтому реальная «привязка» на местности той детали, которая составила основу символики его поэмы, оказывалась недействительной: «заржавая железная трубка» не имела к действительной героине этой истории никакого отношения.

«Выписка...», таким образом, невольно дезавуировала не только историческую, но и *поэтическую* основу его создания. И Пушкину в «Отрывке...» остается только посмеяться над этим обстоятельством. Финальная фраза его отсылает к впечатлениям Муравьева-Апостола: «Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался» [11, т. IV, с. 176]. В самом «ударном» месте книги — в финале — стоит ироническое самопризнание в том, что о самом *главном* из бахчисарайских впечатлений поэт как-то «не вспомнил», — как тот Любопытный из крыловской басни, который «не приметил» слона...

Пушкин в данном случае открыто «играет» с читателем, демонстрируя несовместимость *факта литературного* — и *факта реального*. Их расхождение автор обнаружил тогда, когда исправить ничего было нельзя: поэма была напечатана «в связке» с приложением, имевшим форму документального «путешествия» и недвусмысленно доказывавшим, что автор поспешил и воспел «не тот» памятник... Первым побуждением поэта было как-то объяснить свою «ошибку», — поэтому, например, в «Отрывке...» появился мотив «лихорадки», охватившей автора при посещении Бахчисарая. А ироническое признание в финале в какой-то степени смягчало замеченную «ошибку».

Но что интересно: большинство читателей никакой авторской «ошибки» попросту *не заметили* и не замечают до сих пор: в Бахчисарайском дворце-музее сотрудники каждый день аккуратно кладут к фонтану «Сельсифийль» (не имеющему никакого отношения к истории, рассказанной в поэме) *две розы* — по пушкинскому завету из стихотворения, тоже написанного в Михайловском:

Фонтан любви, фонтан живой!..

Принес я в дар тебе две розы... [11, т. II, с. 343].

Выдуманная, литературная «данность» в этом случае, как ни странно, оказывается важнее и значимее, чем реальная история.

С «Отрывком из письма к Д.» связано и то любопытное обстоятельство, что наиболее «хрестоматийные» и значимые образцы пушкинской лирики, в которых

поднимались «крымские» темы, создавались вовсе не в Крыму, а гораздо позднее — в период «михайловской» ссылки. Это — «Фонтану Бахчисарайского дворца» («Фонтан любви, фонтан живой...»; ноябрь 1824); «Виноград» («Не стану я жалеть о розах...»; март — май 1825); «О дева-роза, я в оковах...» (март—май 1825); «Чедаеву» («К чему холодные сомненья», 1824); «Буря» («Ты видел деву на скале...», 1825). Эти поэтические тексты определили то впечатление, о котором писал Ю. М. Лотман: «Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость, сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина: к этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта» [9, с. 60].

Именно — потом. Между «крымским» и «михайловским» периодом творчества Пушкина — четыре года. Лирическое стихотворение обыкновенно представляется актом «сиюминутного» создания, которое возникает «по свежим следам» впечатлений: увидел — воспел. Отчего же здесь возник столь значительный перерыв?

Пушкин был в Крыму единственный раз в ранней молодости — и очень недолго. В основном, он жил в Гурзуфе — с 19 августа до 5 сентября 1820 г., около трех недель. Ничем особенным его крымская жизнь внешне не ознаменовалась. В «Отрывке...» поэт вспоминал о ней в нарочито будничных тонах: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечною неаполитанского Lazzarone. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что мое пребывание в Юрзуфе оставило у меня в памяти» [11, т. IV, с. 175].

Это сообщение после смерти Пушкина стало источником «поэтических сказаний», вроде того, которое привел П. И. Бартенев в работе «Пушкин в Южной России» (1861): «Постоянные обитатели Гурзуфа, тамошние татары уверяют, что когда поэт сиживал под кипарисом, к нему прилетал соловей и пел с ним вместе; с тех пор каждое лето возобновлялись посещения пернатого певца; но поэт умер, а соловей больше не прилетает» [2, с. 152].

Перед нами — образец «биографического мифа» в его чистом виде. Он «легендарен» уже на уровне обыденной житейской логики: какие же «соловьи» в сентябре? Да и сам Пушкин, судя по сохранившимся стихам, «пел» в Гурзуфе сравнительно немного. Во всяком случае, Б. В. Томашевский, специально занимавшийся этим вопросом, сумел указать лишь четыре текста, написанных или хотя бы начатых в Крыму: «Погасло дневное светило...», «Увы, зачем она блистает...», «К ***» («Зачем безвременную скуку...») и «Мне вас не жаль, года весны моей...». В Гурзуфе Пушкин, судя по рукописям, работал, в основном, над большим замыслом — поэмой «Кавказ», вскоре ставшей «Кавказским пленником» [12, с. 138–139].

Лирику Пушкина вдохновило не столько само пребывание в Крыму, сколько воспоминание об этом пребывании. «Отрывок из письма к Д.» завершился риторическим вопросом: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» [11, т. VIII, с. 439].

Воображенью край священный — это метафорическое определение Крыма, с которого начинается «крымское» отступление в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, кажется как будто вполне естественным. Между тем в нем сопряжены разнонаправленные понятия. *Край* дан в значении «область, местность», в пушкинские времена воспринимавшемся еще и с оттенком «удаленности, окраинности» — некое «на краю света» расположенное пространство. Но с этим конкретным понятием связано абстрактное *воображение* — одно из ключевых слов поэтического словаря Пушкина и одна из важнейших категорий его художественного мышления. Пушкин воспринимал воображение как способность представлять действительность сообразно своему желанию и идеалу — и ощущал *воображение* как процесс переосмысления действительности. Причем, слово это стоит не в родительном, а в дательном падеже, что существенно меняет семантику поэтического высказывания. Не «край» воспринимается как носитель или источник «воображенья», а воображение становится тем фантомом, который способен «пересоздать» «священный край».

В конце 1824 — начале 1825 гг., оказавшись в Михайловском, Пушкин особенно остро вновь переживает крымские «воспоминания» — и даже отступает от подлинных фактов во имя большей психологической выразительности. В его прижизненном поэтическом сборнике «Стихотворения Александра Пушкина» послание «Чадаеву» было датировано не временем написания (1824), а временем пребывания в Крыму (1820) и называлось: «Ч***ву. С морского берега Тавриды». Эти стихи отражали существенно иное отношение к миру, чем то, которое определяло мирозерцание Пушкина четырьмя годами раньше. Перед нами уже человек, значительно повзрослевший, опытом нелегкой жизни поверивший юношеские мечтания и понявший их прекраснодушие.

Воссоздавая биографическую ситуацию своего пребывания в Крыму, Пушкин вроде бы «лжет» — создавая, например, картину баснословных развалин храма Дианы. Но видимая фантазия оправдывает антитезу пушкинским юношеским стихам. В юности он возглашал, обращаясь к тому же Чадаеву:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Теперь же повзрослевшему Пушкину важнее не «борение», а тихая дружба, освященная прикосновением к вечным ценностям:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена [5, 47; 6, 70].

И у других «крымских» стихов, в Михайловском написанных, Пушкин меняет датировку, «переносясь» из 1824–25 года в 1820-й. Эта нехитрая операция существенно уточняла смысл и поэмы «Бахчисарайский фонтан» (которую сам «поздний» Пушкин считал неудачной), и юношеских стихов, в Крыму написанных. Это, в конечном счете, напрямую связывало начало южной ссылки поэта с его пребыванием в «далеком северном уезде».

Литература

1. Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921.
2. Бартнев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992.
3. Винокур Г. Крымская поэма Пушкина // Красная новь. 1936. №3.
4. Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 3. М. Л., 1960. С.49–100.
5. Козмина Л. В. Автобиографические записки А. С. Пушкина 1821–1825 гг.: Проблемы реконструкции. М., 1999.
6. Кошелев В. А. Крым как «воспоминание» в лирике Пушкина // Крымский текст в русской культуре. СПб., 2008. С. 57–71.
7. Кошелев В. А. Пушкин: История и предание. СПб., 2000.
8. Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.
9. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1982.
10. Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2.
11. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. I–XVI. АН СССР, 1937–1949.
12. Сандомирская В. Б. О первом наброске стихотворения «Увы! зачем она блистает» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986.
13. Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 567, 482–484.
14. Фейнберг И. Л. Автобиографические записки Пушкина // Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985.
15. Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД №832. (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986.